

# АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ

Юрий ЛЕВАДА

## Человек недовольный: протест и терпение

**Исходный парадокс: недовольство и терпение.** Общепризнанная, подтвержденная множеством наблюдений и эмпирических исследований особенность массовой реакции на нескончаемую череду испытаний, лишений, тягот, которые приходится испытывать человеку в российском обществе на протяжении практически всей до-советской, советской и нынешней, постсоветской истории, — безусловное преобладание терпения над активным протестом, приспособления — над бунтом, пассивного недовольства — над борьбой за свои права. В рамках извечной дилеммы Гамлета («Достойно ль//смиряться под ударами судьбы./или надо оказать сопротивление?» — Акт 3, 1) «массовый», всенародный выбор практически всегда склоняется у нас к первому варианту. Достаточно редкие исключения лишь подтверждают общее правило.

Для сторонних наблюдателей (а также для подверженных соблазнам «революционных взрывов» или страхам перед ними) ощущение парадоксальности происходящего в современной России явно усиливается в обстановке, когда социальные настроения перестали быть молчаливыми, получили выход в политические институты, масс-медиа, на «улицы». Чтобы преодолеть видимый парадокс, нужно определить те социальные условия и структуры, которые формируют и поддерживают такое сочетание — а точнее, взаимодействие — недовольства и терпения в обществе. Апелляции к отечественной традиции («всегда так было»), к особенностям национальной психологии («хотим мало, ждем худшего, терпим все» и т.п.) или к неэффективности современного социального недовольства («фонového») — констатируют бесспорные факты, но не объясняют их. Объяснение же в рамках социологического исследования проблемы должно, по-видимому, учитывать те особенности социальных институтов и структур интересующего нас общества, которые обесценивают массовое недовольство, направляют его в русло пассивного терпения или в сторону поисков «внешнего» источника зла и т.п.

Анализ результатов регулярных исследований общественного мнения — в том числе по программе «Советский человек» — позволяет подойти к пониманию по крайней мере некоторых сторон этого феномена.

**От «лояльного» человека к «недовольному».** Традиционно советский человек характеризовался своими политическими (и литературно-художественными) воспитателями как абсолютно лояльный и доверяющий власти, довольный своим положением и уверенный в светлом будущем. Сегодня же явно, «громко» недовольных в обществе — несомненное большинство (практически все, за исключением самых молодых, самых удачливых и, пожалуй, самых безразличных). Одну из характерных черт советского «мобилизационного» общества составлял всеобщий принудительный оптимизм — некая универсально навязанная рамка восприятия социальной действительности, в которой любые беды и страдания человеку предписывалось воспринимать как «отдельные недостатки», частности, пережитки прошлого,

«происки» врагов и т.п. на фоне грандиозных достижений и величественных перспектив. Все и всяческое недовольство потому надлежало направлять лишь на частности, пережитки и происки, в то время как реакцией на генеральную линию, светлые перспективы и всемогущие власти могло быть лишь единодушное одобрение.

Реальный массовый человек и в те времена, конечно, не был существом абсолютно безмятежным, однако у него отсутствовали не только легитимные возможности выразить свое недовольство, но и условия для того, чтобы его осознать. Принудительное единодушное поддерживалось не только страхом наказания за малейшее отклонение от требований, но и — что даже важнее — самой ситуацией безальтернативности, отсутствия «точки опоры» для сравнения и оценки действий. Состояние общественнозначимого недовольства возникает как реакция на сравнение то ли с «лучшим» (по крайней мере, более спокойным) прошлым, то ли с неосуществленным светлым будущим (точнее, с иллюзией такого будущего), то ли, наконец, с достигнутым кем-то другим уровнем благосостояния. В любом случае это состояние обусловлено ситуацией относительной, а не «абсолютной» обездоленности (в социологии — «релятивной депривации»).

В связке современных ностальгических настроений и оценок содержится и представление о том, что «раньше» подобного уровня массового недовольства не было. Такого типа и тем более так выраженного недовольства — действительно не было и быть не могло. «Застойные» времена заслуживают своего наименования не из-за слабого роста экономических показателей (о котором сейчас даже мечтать невозможно), а из-за того, что будущее не отличалось от прошлого («своего» прошлого, поскольку «чужое» оставалось за пределами массового восприятия). Сегодня такие различия ощутимы, сравнения как бы автоматические заданы, результаты их часто печальны. От двух третей до трех четвертей российского населения считают, что живут хуже, чем раньше, значительно хуже, чем рассчитывали, и — сверх того — хуже, чем большинство окружающих людей. Последнее представление («хуже других») показывает, сколь велика доля субъективных установок — в данном случае, установок на «сравнительное самоунижение» в оценках людьми собственного положения.

Особая и чрезвычайно важная (практически и теоретически) проблема — способ выражения общественного недовольства. «Гласность» первых лет перестройки вынесла наружу различные его тенденции — и тут же обнаружилось отсутствие адекватного социального и политического языка для того, чтобы их выразить, и адекватных структур, в которых этот язык мог бы работать (программ, партий, элит). Отсюда преобладание «настроенческого», эмоционального протеста, который довольно быстро стал вырождаться и укладываться в традиционные формы «советского» патернализма и патриотизма.

Механизм социально-политической мобилизации (и такие его индикаторы, как условно-«единодушная» поддержка символов и действий власти), сформированный ранее, сохранял свое значение и в годы расцвета перестроечных надежд.

Понадобилась политическая поляризация 1993 г., чтобы хаос и тяготы реформ превратились в базу устойчивого и все более широкого социального недовольства. Стоит подчеркнуть, что такое массовое настроение не возникло ни после первых вспышек забастовочной

борьбы в 1989 г., ни после пустых полок и кошельков 1992 г. Демонстративная поддержка реформ оставалась преобладающей, да и Е. Гайдар оставался на вершине общественного доверия после своего ухода из правительства в конце 1992 г. (кстати, это хороший довод против упрощенно-потребительской трактовки современного социального протеста!).

Легитимация консервативной социально-политической оппозиции (в массовом сознании) сыграла огромную роль в преодолении структур и традиций мобилизационного общества. Монолитное принудительное единство — как это ни кажется парадоксальным на первый взгляд — было разрушено усилиями сторонников «монолитной» модели общества. Вместе с тем, как бы попутно, получило право на существование само общественное недовольство, причем самой разной направленности — скажем, одни недовольны быстротой перемен, другие — их медленностью, третьи — самими переменами.

Вопрос, однако, в том, кто и как артикулирует (а тем самым и организует) общественное недовольство. В начале 90-х единственной организованной силой на социально-политическом поле оставалась государственная власть, претендовавшая на инициативу преобразований и стремившаяся направить общественный протест в адрес своих предшественников. Последующее развитие ситуации привело к выходу на сцену организованной оппозиции (консервативно-советской по своей ориентации) и превращению государственно-реформаторской инициативы в инерцию простого сохранения статус-кво. Организатором и выразителем общественного недовольства становится преимущественно консервативная (коммунистическая, популистская, патриотическая) оппозиция. В то же время слабеют голоса сторонников «более радикальных реформ» или «доведения реформ до конца»; позже пускается в оборот туманная — чем и привлекательная — идея «иной реформы».

Как показывает время, никакие социальные структуры, институты и механизмы, разрушавшиеся или обесцененные переменами 80–90-х годов, не были разрушены «до основания». Это относится и к механизму массовой социально-политической мобилизации. В усеченном и ограниченном виде (на ограниченный период, в ограниченной сфере, для части населения и т.д.) мобилизационные механизмы могут включаться и в расколотом, недовольном обществе. Простейший пример — частичная (период — около трех месяцев, охват — несколько более трети всего электората) мобилизация для поддержки Б. Ельцина в период его избрания президентом в 1996 г. Другим примером может служить воинственно-патриотическая мобилизация общественного мнения (около двух третей населения) в ситуации второй чеченской войны 1999 г. (Функции таких процессов в трансформации социального недовольства мы обсудим несколько позже.)

**Недовольство, протест, борьба: необходимые разграничения терминов.** Прежде всего, следует отметить особенности таких поведенческих категорий, как почти универсальное («диффузное») недовольство, массовые настроения (направленного) протеста и организованная борьба за достижение определенных общественных целей.

Недовольство — наиболее распространенный и наименее определенный вид социальных настроений. Недовольство, как будто направленное «на все» — от собственного положения до положения страны и политики ее руководителей и пр., — в то же время практически не направлено никуда: это некое довольно устойчивое со-

стояние общественного мнения, некий общий фон для всех его параметров и колебаний. На этом фоне происходят и всплески одобрения действий политических лидеров (президента — в период выборов 1996 г., сменяющих друг друга премьеров — в 1998–1999 гг.), и вспышки острого общественного негодования (в адрес того же президента), которые потом переходят в форму хронического, «фонового» недовольства, расходясь по каналам «мобилизованной» агрессивности и дополняющих ее страхов и т.д. Если перефразировать известную ироническую формулировку 70-х годов, («все недовольны, но все голосуют «за»), можно сказать, что сейчас все недовольны, все «против», но голосуют по-разному, а терпят все.

В среднем за 1994–1999 гг. лишь 10% опрошенных «вполне» или «по большей части» устраивает жизнь, которую они ведут. 32% — жизнь «отчасти устраивает, отчасти нет», а большинство — 54% «по большей части» или «совершенно» не устраивает.

Впрочем, в подавляющем большинстве случаев недовольство населения направлено на социальные и политические институты, на должностных лиц, которые недостаточно заботятся о простых людях. Собственное же положение оценивается более спокойно. По данным сводного мониторинга 1994–1999 гг. своим положением в обществе удовлетворены («вполне» и «скорее») 52% против 34 «вполне» и «скорее» неудовлетворенных. Однако материальным положением своей семьи удовлетворены только 16% (против 82 неудовлетворенных). «Своей жизнью в целом» удовлетворены 45% против 48.

Является ли настроение «всеобщего» недовольства сугубо современной характеристикой общественного состояния? Или его можно отнести к каким-то исторически закрепленным особенностям национальной психологии, российского народного характера или чего-то в этом роде? Если оставаться в пределах возможного социологического понимания исторических феноменов, правомерно допустить, что настроения всеобщего и диффузного недовольства — неперенный продукт всякой «эпохи перемен», когда традиционные рамки существования подорваны, а новые ориентации неясны, средства для их реализации отсутствуют, иллюзии разрушаются т.д. Для различных слоев российского общества (а затем и для всех его групп) такие сдвиги происходят на протяжении последних двух-трех сотен лет.

Намерения или готовность участвовать в акциях социального протеста, которые регулярно отслеживаются в опросах общественного мнения (декларативная готовность участвовать в акциях «против» определенных действий или институтов власти), — это уже феномены направленного недовольства, но — остающегося в рамках настроений, чаще всего не переходящих в какие-либо действия. Как показывают исследования, реальное участие в каких-либо «протестных» акциях всегда значительно меньше заявленной готовности к ним.

Правомерно выделить три основных направления трансформации современного общественного недовольства в определенные активные действия: «экономическое», «политическое» и «национальное». (Некоторая условность такого разделения будет рассмотрена позже.)

**Рамки и факторы «экономического» протеста.** Готовность протестовать «против экономической политики и падения уровня жизни» отмечается в исследованиях чаще всего (см. *табл. 2*).

По сводному мониторингу 1994–1999 гг., за этот период в среднем 27% считали возможными массовые выступления в своем городе или сельском районе «против роста цен и падения уровня жизни», 56% считали такие

1995  
1996  
1997  
1998  
1999

А  
Б

выступления маловероятными, 17% затруднились ответить. В среднем за указанный период 23% опрошенных (против 60%) утверждали, что могли бы принять участие в таких выступлениях.

Таблица 1

**Показатели терпения и готовности к экономическим протестам, 1994-1999 гг.**  
(в % от числа опрошенных)

Год	Индекс терпения*	Готовность участвовать
1994	1,9	23%
1995	1,6	24%
1996	1,5	22%
1997	1,4	25%
1998	1,0	27%
1999	1,0	27%

\* Индекс терпения рассчитывается по формуле: индекс терпения = индекс готовности к участию в акциях протеста / индекс готовности к участию в акциях протеста, которые не являются протестными.

Таблица 2

**Показатели терпения и готовности к экономическим протестам, 1998-1999 гг.**  
(в % от числа опрошенных, по месяцам)

	1998 г.						1999 г.				
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Сентябрь	Октябрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Сентябрь
A	40	39	42	45	01	51	47	47	45	48	45
B	25	26	24	27	39	24	29	28	27	28	24
B	1,3	1,3	1,2	1,0	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

A. Индекс готовности к участию в акциях протеста  
B. Индекс готовности к участию в акциях протеста, которые не являются протестными  
B. Индекс готовности к участию в акциях протеста, которые не являются протестными

Как видим, из года в год снижается «запас терпения», однако даже заявленный потенциал протеста изменяется довольно мало. После пиковых значений, явно связанных с переживанием финансово-экономического обвала августа 1998 г., показатели экономического недовольства постепенно возвращаются к докризисному состоянию.

Приведенные данные относятся к заявленным намерениям опрошенных участвовать в акциях протеста. Реальное участие в таких действиях всегда было значительно меньше заявленного. По сведениям Госкомстата, число бастующих в 1994 г. составило 155 тыс. человек, в 1995 г. — 489 тыс., в 1996 — 664 тыс., в 1997 — 887 тыс., в 1998 г. — 530 тыс. (см. «Обзор экономики России». 1999. Вып. II. С. 97). Это значит, что даже в «пиковый» год число бастующих немногим превышало 1% работающих. Накануне шумно готовившейся всероссийской акции протеста 7 октября 1998 г. около 10% заявляли о готовности участвовать в забастовках и временных приостановках работы. На деле (по опросным данным) участвовало в таких действиях не более 3%.

Отметим некоторые особенности протеста, который отнесен к экономической сфере. Во-первых, чаще всего он направлен не против конкретных владельцев и конкретных экономических условий производства на данном предприятии, в данной отрасли, а против «власти» и ее «экономической политики». Скажем, с требованием выплатить задолженность по зарплате протестующие

(бастующие, демонстрирующие, пикетирующие и т.д.) обращаются к правительству страны, реже — к губернатору, еще реже — к руководству предприятия. Поэтому и сам протест, независимо от того, кем непосредственно он организован (профсоюзом, стачкомом), нередко выражает не столько конфликт между работниками и работодателем, сколько претензии отраслевых лобби (работников и дирекции вместе взятых) к госбюджету. Во-вторых, эти претензии, как бы демонстративно они ни выражались (марши «пустых кастрюль» в начале реформ или шахтерские пикеты у здания правительства в 1998 г.), по смыслу своему не выходят за рамки прошения, посланного к властным структурам. И, в-третьих, — что, пожалуй, наиболее важно отметить в данном случае, — выдвигаемые в ходе забастовок, демонстраций, «походов» и пикетов требования, за немногими исключениями, направлены не на повышение уровня оплаты или улучшение условий труда (что характерно для экономических выступлений в западных странах), а всего лишь на выполнение старых обязательств — в основном по своевременности оплаты труда.

Если в классической традиции либеральной (да и марксистской) мысли рабочее движение со своими экономическими требованиями считалось одним из факторов технического и социального прогресса, то в нашей реальности такого просто не наблюдается: с помощью массовых выступлений защищают себя старые — советские, патерналистски-распределительные структуры хозяйства. Значительная часть экономических протестов — это даже не «борьба за копейку» (как презрительно именовались в революционной литературе начала XX в. рабочие требования экономического плана), а борьба за «образ прошлого». При отсутствии способов и организационных средств реальной борьбы за расширение своих прав и улучшение условий массовый протест неизбежно укладывается в наиболее привычные (отнюдь не «стихийные», как считалось когда-то) формы.

Это подтверждают и приобретенные в 1999 г. шумную известность акции захвата предприятий (глиноземного завода в Красноярске, целлюлозно-бумажного комбината под Выборгом), которые совершались руками профсоюза, стачкома в интересах старых владельцев или администраторов.

**«Политический» протест: потенциал консервативного популизма.** Как уже отмечалось, с момента общественного раскола начала 90-х выступления (и настроения, лозунги) протеста против политических институтов и акций носят преимущественно консервативный и популистский характер — это настроенческий, воображаемый бунт с позиций прошлого, организатором которого выступают люди старой элиты. Здесь, кстати, обильная почва для исторических параллелей, поскольку для отечественной истории характерны именно консервативные бунты и расколы. Параллели сами по себе ничего не объясняют, само их наличие говорит лишь о том, что к моменту очередного исторического перелома в стране не успела (или, по другим критериям, опоздала) сложиться новая политическая элита, обладающая достаточным влиянием, чтобы вести общество за собой. Предпринятая М. Горбачевым попытка реформировать партийно-советскую систему запоздала на тридцать или на пятьдесят лет, почему и привела к неожиданному для всех обвалу всей конструкции. По своему складу и составу советская «партия власти» оказалась неспособной стать «партией прогресса», но и никакая иная структура для исполнения этой функции не была пригодна. В итоге «партия власти» вынуждена — в интересах самосохранения — продолжать «линию» (точнее.

просто инерцию) реформ, лишенных программы и содержания.

Инициаторы реформ не были способны ни собрать в какую-то силу новую просвещенную и реформистскую элиту, ни убедить массового человека в том, что состояние, именуемое (слишком торжественно и малопонятно) реформами, может быть полезно и выгодно им. В качестве единственной опоры им пришлось использовать ненадежные институты и рычаги существующей президентской власти, а тем самым оказаться заложником этих институтов. Результат — дискредитация демократических сил и превращение их в маргиналов политической сцены.

Параллельно произошли существенные изменения в позициях консервативной (коммунистической) оппозиции. Имея довольно крупный и стабильный электорат, составляющий около четверти общего, КППРФ фактически претендует не на власть, но лишь на позицию «группы давления» на нее, а потому последовательно поддерживает правительство во всех принципиальных ситуациях — утверждении премьер-министров, принятии бюджетов, кавказской политике и пр. Искусственно раздутое противостояние «правых» и «левых» 1995—1996 гг. (фактически — противостояние двух групп советской правящей бюрократии) утрачивает смысл и превращается к 1999 г. в «борьбу за центр» политического поля. Причем, как приходилось отмечать ранее, «центральной» считается всего лишь позиция отмежевания от «крайностей».

В этой ситуации характерную эволюцию претерпевает популизм как политика завоевания массовой поддержки, которая используется практически всеми политическими течениями (за исключением демократически-элитарного). В наибольшей мере она характерна для В. Жириновского, с одной стороны («протестный» популизм), и Ю. Лужкова («конструктивный» популизм); средние позиции занимал «харизматический» популизм А. Лебеда в пору его высокой (1996–1997 гг.) популярности. Но сугубо «протестные» настроения электората Жириновского, который казался поначалу экстремистским, неонацистским, довольно легко — не столь важно, какими именно приемами — были трансформированы в лояльное, послушное интересам власти поведение парламентской фракции ЛДПР. Популизм как особый вариант протестной политики явно утрачивает свое содержание.

На таком фоне эволюционируют настроения и акции политического протеста конца 90-х годов. Массовое эмоциональное недовольство, направленное против партийно-советской системы в 1989–1990 гг., после 1993–1994 гг. уступает место не менее эмоциональному и значительно более массовому разочарованию в демократических силах и реформах. Но последовавшая за этим довольно широкая поддержка «левой» оппозиции не находит практического выхода и шаг за шагом превращается в надежды на поддержание современного статус-кво, именуемого «центризмом».

Основные направления политического недовольства и протеста, сложившиеся к кануну новой избирательной кампании — к лету 1999 г., — характеризуются следующими показателями.

Во-первых, закреплена и неизменен высокий уровень отчуждения населения от власти, недоверия к государственным институтам и деятелям. (Как уже приходилось отмечать, такое «разделение труда» между повседневной жизнью населения и деятельностью власти имущих в высшей мере удобно обеим сторонам, поскольку охраняет их от вмешательства со стороны партнера.)

Во-вторых, остается предельно высоким уровень недоверия президенту Б. Ельцину, которого общественное

мнение упорно считает главным виновником всех несчастий и трудностей, с которыми сталкивается страна, — независимо от конкретных обстоятельств и любых политических поворотов. В период попытки парламентского импичмента президента в мае 1999 г. три четверти населения (76%) и более половины депутатов (56%) полагали, что президент заслуживает отстранения от власти из-за развязывания войны в Чечне в 1994 г., в августе общественное мнение сочло его главным виновником вторжения чеченских отрядов в Дагестан, а в октябре, после начала новой военной кампании, получившей широкую массовую поддержку, по-прежнему настаивает на отставке президента. При этом, как показывают опросы, большинство населения отлично понимает, что такая отставка нереальна.

Во-третьих, частая в 1998–1999 гг. смена правительств и премьеров, не будучи понятной населению, неизменно — и даже с некоторыми надеждами на лучшее — принимается им (как и парламентом).

Таблица 3

Показатели готовности к политическим протестам, 1998 и 1999 гг.  
(в % от числ. опрошенных по месяцам)\*

	1998 г.					1999 г.				
	Январь	Март	Май	Июль	Сентябрь	Январь	Март	Май	Июль	Сентябрь
А	36	40	42	51	66	66	63	60	67	69
Б	32	39	31	38	41	25	24	27	25	31
В	28	34	32	34	31	36	34	37	31	30
Г	18	20	27	20	28	21	21	31	28	25

А — доля тех, кто считает, что власти виновны в существующих трудностях страны

Б — доля тех, кто считает, что виновны в трудностях страны сами граждане

В — доля тех, кто считает, что виновны в трудностях страны и власти, и граждане

Г — доля тех, кто считает, что виновны в трудностях страны и власти, и граждане, и другие

\* Опросы проводились в 1998 г. — в августе, в 1999 г. — в сентябре.

Как видно из табл. главным объектом протеста остается президент; после августа 1998 г. доля требующих его отставки достигает двух третей опрошенных и с тех пор почти не изменяется. К правительству население относится значительно терпимее. Все вновь назначавшиеся с 1998 г. премьеры получали заметную поддержку общественного мнения. Таким образом, «антихаризма» действующего президента населением явно не распространяется на назначаемых им глав правительства. (Отношение к личности и действиям последнего в этом ряду, В. Путина, имеет свои существенные особенности, которые заслуживают отдельного рассмотрения.)

Наконец, в-четвертых, это уже отмеченная черта начала думской избирательной кампании 1999 г. — практически всеобщее декларативное устремление к неопределенному центру, к поддержанию баланса политических сил (равно как и сил влияния, в том числе причисляемых к олигархическим). И, соответственно, минимизация влияния крайних сил как слева, так и справа. К этой картине «примирения и согласия» после или вследствие вспышек острых конфликтов можно было бы добавить также намечавшееся с лета 1999 г., после известных поворотов на «косовском поле» мировой политики, урегулирование политических и финансовых отношений с международными организациями, с Западом.

Представленная ситуация обессилых и истощенных

вающих себя конфликтов и протестов, приводящих к вынужденным компромиссам, могла бы найти свое продолжение до самих выборов в Думу или даже позже, — если бы над этими выборами и всей политической жизнью страны не нависала необходимость смены президента и, фактически, самого типа президентского режима в следующем году. Связанная с этим «большая» политическая интрига по своему значению несравнима с перипетиями межпартийной конкуренции предвыборных месяцев. Отсюда и выдвижение фигуры В. Путина как сильного премьера с президентским прицелом, опирающегося не на возможный баланс политических и парламентских сил, а непосредственно на массовую национальную мобилизацию. Последний термин заслуживает особого рассмотрения.

#### **Национальная мобилизация и «комплекс врага».**

Самая напряженная зона недовольства, протестов и открытых, в том числе силовых, конфликтов в нашем обществе с конца 80-х годов — не социальная и не политическая, а национально-государственная. Именно на этом поле потерпела решающее поражение вся советская партийно-государственная машина в 1988-1991 гг. (Существует определенная, хотя и неполная историческая аналогия с крушением на подобном же поле российской монархии.) Термин «национальный» в данном контексте, естественно, имеет смысл *национально-государственного*, а не этнического или межэтнического. Фактор общенациональной интеграции — как политической и экономической, так и моральной сплоченности (в терминологии Э. Дюркгейма), важный для существования любого государства, неизменно становился болезненно-важным в ситуациях кризиса государственных образований имперского типа.

О национальном комплексе в указанном смысле — или комплексе национально-государственной идентификации — можно говорить как о некоторой системе взаимосвязанных ценностей и установок, ожиданий и символов, поведенческих и эмоциональных стандартов, которые разделяются «всеми», т.е. достаточно большой частью населения, принадлежащего к разным социально-статусным, политическим и пр. группам. Элементами национального комплекса могут служить «общие» ориентации по отношению к внешнему миру (соотношение «нашего» и всего остального), к собственной истории и традициям, к этническим и другим анклавам и т.д. Согласно принятой социологической терминологии, субъект национального комплекса — предельно крупная, самовоспроизводящаяся «мы-группа».

XX в. показал, что при всех различиях (имущественных и социально-статусных, этнических и конфессиональных и пр.) внутри национальных сообществ, при всем развитии мировых наднациональных связей и растущем признании прав человека как личности — национальная общность остается доминирующей «осью координат» человеческого самоопределения. Ни либеральная концепция примата личности, ни социалистическая идея классовой наднациональной солидарности, ни дипломатические конструкции типа «общего дома» или «мирового сообщества» не смогли преодолеть эти рамки, иррациональные по меркам модернизационных моделей начала столетия. Объединенная Европа, этот пример современной наднациональной интеграции, остается «Европой отечеств», как называл ее Ш. де Голль.

Обращение к феномену национального комплекса в контексте настоящей статьи важно прежде всего потому, что этот комплекс всегда и везде служил и — с неодинаковой эффективностью — служит одним из главных средств ослабления внутренних конфликтов и про-

тестов и их трансформации во внешние.

Исследования подтверждают, что комплекс национальной идентификации может поддерживаться как «внутренними» (общность жизни, хозяйства, отсылки к «своей» истории и традиционным символам), так и «внешними» (отмежевание, противопоставление по отношению к «чужим») факторами. Причем в ситуации слабости внутренних связей — нечто подобное придется переживать сейчас российскому обществу — возрастает и даже гипертрофируется роль второго из названных, т.е. «внешнего» самоутверждения. Перевод национального комплекса в возбужденное, «активированное» состояние сейчас практически невозможен без апелляции к внешней угрозе и инкарнации внешнего врага. Обращение к этому испытанному историей средству происходит с двух сторон — как «сверху», со стороны властных структур, так и «снизу», со стороны массового сознания. Доводами обычно служат апелляции к обидам и унижениям со стороны различных внешних сил, традиционно объединяемых символами «Запада». Правда, линии этих апелляций не всегда пересекаются.

Так, явно не «работал» в пользу массовой социально-политической мобилизации такой официальный довод, как утрата мирового влияния, лидирующих позиций России, или ранее СССР, в мире. С таким доводом соглашается обычно заметная часть опрашиваемых, но мобилизовать общество ради спасения мирового влияния не удалось никогда. Самый очевидный пример — афганская кампания (1979–1989 гг.), не получившая массовой поддержки. Не получил ее и недавний марш-бросок российских частей в Косово, рассчитанный на решение сугубо престижных задач. Не пригодились для массовой мобилизации и такие официальные аргументы периода первой чеченской кампании 1994-1996 гг., как ссылки на «угрозу территориальной целостности» федерации или нарушение «конституционного порядка» в Чечне. Как показывают исследования, более половины населения и теперь, в разгар новой военной кампании, готовы согласиться с полным отделением мятежной территории от России. Соблюдение же конституционного порядка в этой кавказской республике население просто мало беспокоит. Неэффективно работает, следовательно, комплекс «имперского сознания» (ни в направлении интересов «центра», ни в направлении «заботы о порядке» в провинции). Не лучше обстоит дело и с государственно-экономическими доводами — население глубоко коррумпированной страны мало обеспокоено судьбой отдельного нефтепровода или мелких керосиновых заводов.

Судя по всем данным, действенным оказался другой, более примитивный и неизмеримо более сильный фактор — *страх* перед вездесущими и неуловимыми (как представляется) террористами. Обычный человеческий массовый страх за собственную жизнь, за личную безопасность, жилище, имущество. Очевидно при этом, что в одной связи с терроризирующим страхом оказались такие давние, как бы заранее приготовленные компоненты негативной мобилизации общественного мнения, как отрицание «западного вмешательства» и стыд за получение «западной помощи», возмущение «засильем кавказцев» на столичных рынках и т.д. И, разумеется, универсальное — не только военной элите присущее — стремление вытеснить из исторической памяти переживание военно-политического поражения 1996 г.

Направленный всем этим комплексом взрыв страха после известных актов террора в Буйнакске, Москве, Волгодонске оказался решающим фактором (триггером), вызвавшим в общественном мнении целную реакцию ненависти и мести, равной которой не приходилось наблюдать за все годы исследований.

Если рассматривать только социальный механизм

«запуска» подобной реакции (а нас, понятно, интересует в данном случае именно эта сторона дела), приходится вспомнить недавнюю ситуацию совсем иного плана и значения — отношение к проблеме «перемещенных» (т.е. присвоенных в качестве военных трофеев) художественных ценностей. Несмотря на довольно упорное противодействие правительственных структур, связанных определенными международными нормами и обязательствами, в общественном мнении — и в обеих палатах российского парламента — безоговорочно возобладала простая и вечная концепция *отмщения* за нанесенную обиду («око за око», «кража за кражу», «десять за одного» и т.д.). Отзвуки давней конфронтации предметно доказали, насколько далеким от цивилизованных стандартов готово быть наше общественное мнение, даже когда мобилизующим его фактором служит только направленная историческая память. По точному замечанию Ф. Искандера, «раб хочет мести, а не свободы».

На старте второй чеченской войны «механизм отмщения» был запущен — притом чрезвычайно успешно — уже с использованием всей мощи государственных структур и масс-медиа. Простой, умело (или случайно, — не столь важно, в принципе) направленный страх оказался более сильным возбудителем, мобилизующим общественное мнение, чем все вызовы имперского комплекса или государственного сознания.

Основную роль во всякой ситуации негативной мобилизации общественного мнения играет «комплекс блага», от которого когда-то безуспешно пытались чисто словесно избавиться инициаторы перестройки (тогда в ходу была несколько облегченная формула «образ врага»). Комплекс врага — более сложное понятие, которое охватывает представления о структуре, функциях, происках, пособниках и т.п. «вражеских сил», а также и убеждение в необходимости самой фигуры «врага» как универсального источника бед и страданий людей.

Комплекс врага обстоятельно разработан и испытан в ходе формирования «человека советского», черты которого не утратили своего значения и по сей день. «Враг» — непременно обладатель предельных отрицательных характеристик, т.е. не просто соперник, конкурент, оппонент и т.п., а воплощение inferнальных, дьявольских начал. Это относилось к внутрипартийной оппозиции, к «классовым врагам», к политическим и военным противникам. Отсюда простой вывод — с врагом можно поступать «вражески», не стесняясь никакими рамками законности или гуманности. Подозрение может приравняться к приговору, исполнение наказания может предшествовать суду и следствию, массовое устрашение — заменять поиски конкретных виновников и т.д. Врагу приписываются качества всемогущества и вездесущности, из чего делается вывод о том, что врагов следует усматривать везде, во всех, за любой неудачей, за любой аферой и просто за любым углом. Кроме того, враг во всех случаях оказывается «внешним», т.е. если это не прямо «Запад», то непременно шпион-диверсант-агент «чужих» сил, их пособник, наемник и т.п.

Вся эта атрибутика политической мифологии многократно описана и обличена за последние сорок с лишним лет, однако она не может выйти из употребления, пока общество (именно общество и общественное мнение, а не только официально-воинственная пропаганда) нуждается в комплексе врага, бережно его хранит и активно использует. Прежде всего — для самооправдания, для того, чтобы носителем вины непременно оказывался некто чужой и враждебный. (Приступы очистительной самокритики ранних времен перестройки прочно позабыты; лицемерное самоуничтожение «совкового» сознания ничего общего с ними не имеет.) И, естественно, для негативной мобили-

зации разобщенного общества вокруг чрезвычайных действий и, возможно, «чрезвычайных» лидеров.

В процессах социально-политической мобилизации осени 1999 г. примечательна трансформация первоначального (относящегося к 1994–1995 гг.) «демократического» протеста против тогдашних военных акций в Чечне — в практически безоговорочную поддержку значительно более жесткого курса. Поскольку здесь речь идет не о массовой реакции, а о поведении весьма квалифицированной политической элиты, то в мотивационном ряду на первый план выступают, видимо, не упомянутые выше пароксизмы «простого страха», а более сложные факторы политических расчетов и зависимостей. Это серьезно влияет на всю картину оценки общественным мнением происходящих событий: лишенный артикуляции слабый антивоенный протест превращается в неслышимый. Причем в данном случае нынешний «приговор» общественного мнения имеет обратную силу, т.е. задним числом оправдывает те акции пятилетней давности, которые еще недавно оценивались как трагически ошибочные или просто преступные.

**Итог: «загадка» российского терпения.** Согласно одному из опросов 1998 г., главными чертами национального характера россиян более половины респондентов считают «терпение». Показатели регулярного мониторинга как будто вполне подтверждают эту самооценку: так, по сводным данным опросов 1994–1999 гг. (до сентября включительно, 46 тыс. опрошенных), в среднем 10% согласны с тем, что «все не так плохо, и можно жить», 49 — что «жить трудно, но можно терпеть», 35 — что «терпеть наше бедственное положение уже невозможно»; остальные 6% затруднились ответить. На протяжении всех лет наблюдения эти показатели колеблются вокруг средних значений.

Как мы видели из приведенных выше данных, социальное недовольство в стране остается весьма слабым и относительно легко «гасится» при некотором сокращении задержек с выплатами. Политические протестные настроения в тех организационных и программных рамках, которые они имели в последние годы, фактически исчерпали себя; новые формы не сложились. Вспышки политического возмущения в конечном счете приводят не к взрыву, а к послушанию.

Приведенные данные в сопоставлении с другими результатами исследований позволяют выделить некоторые типы «терпеливого поведения» и, соответственно, «группы терпения», различные по своим мотивационным установкам.

Группа «безразличного», астенического терпения. Это в основном люди, которых не беспокоит ни собственное положение, ни состояние дел в стране.

Другая группа может быть описана с помощью термина «лукавое терпение». Это люди, которые надеются на то, что общественные потрясения и невзгоды обойдут их семьи, хозяйства стороной. Часть из них полагает что им удастся извлечь из такого положения определенные выгоды для себя.

Третья группа терпит лишения и не видит выхода. Это разочарованные, отчаявшиеся, утратившие доверие к вчерашним лидерам и не нашедшие новых надежд или иллюзий. Большое влияние на поведение этой группы оказывают кризис и разложение демократической элиты.

И, наконец, наиболее оптимистичная группа — те, кто упорно, часто вопреки очевидности надеются на перемены к лучшему.

Принципиальная слабость всех форм и направлений протестных акций, которые можно наблюдать в российском обществе, определяется не какими-то случайными, ситуативными моментами, а таким их качеством, как слабая структурированность. Ни общественные потрясения, ни околополитические страсти и интриги последних лет не привели к формированию устойчивых поли-

тических разделений, независимых от вертикали власти элитарных структур, суверенности человека по отношению к власти. Сама возможность моментальной социальной мобилизации («негативной» мобилизации), которую продемонстрировало наше общество осенью 1999 г., — убедительное подтверждение того, что общество недалеко ушло от образцов механической «монотности», которая поддерживала абсолютную власть и позволяла безоглядно собой манипулировать<sup>1</sup>. Никакой общественный протест не может быть эффективным, если он не артикулирован, не опирается на определенную структуру сформировавшихся общественных интересов, групп, институтов. И пока эта ситуация не изменится принципиально, социальный протест будет укреплять ресурсы социального терпения.

Ханс-Петер ХААРЛАНД,  
Ханс Иоахим НИССЕН

### К развитию демократии и рыночной экономики в Польше, Чехии, Венгрии и России<sup>1</sup>

Служба исследования по социальной экономике (г. Кельн) проводит регулярные опросы в Польше, Чехии, Венгрии, а с 1997 г. в России по единой программе и единой системе субъективных и объективных показателей для изучения переходных процессов в этих странах. Эти исследования известны под названием «Барометр трансформаций в Восточной Европе».

**Положение в экономике.** В 1999 г. в Польше, но особенно в России среди населения отмечено усиление недовольства тем, как проводятся реформы. В обеих странах усилилась критика рыночной экономики. Напротив, в Чехии и Венгрии постепенно прогрессирует адаптация населения к новой экономической системе.

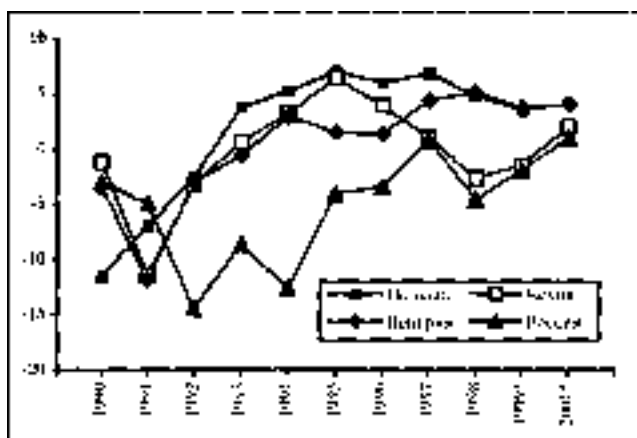


Рис. 1. Внутренний валовой продукт

\* Прогноз.

<sup>1</sup> По устному замечанию японского социолога проф. С. Хакамада, национальный характер россиян описывается метафорой «куча песка», т.е. нечто, лишённое собственной формы и упорядочиваемое только внешними «стенками».

<sup>1</sup> Статья написана при сотрудничестве Вольфганга Францена и Вольфганга Юльнера, по материалам исследования «Барометр трансформаций — Восточная Европа 1999 г.».

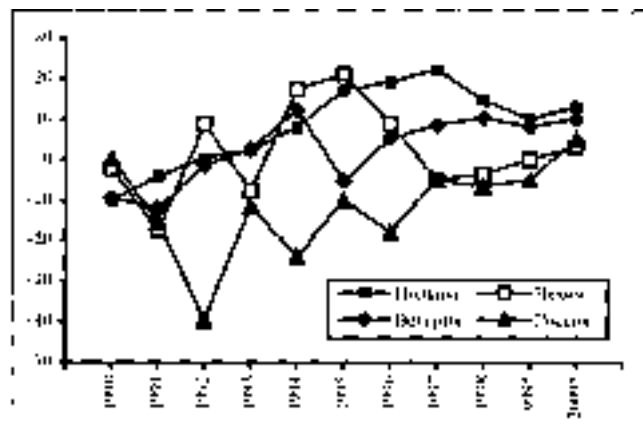


Рис. 2. Развитие инвестиций

\* Прогноз

Таблица 1

Рост инфляции (в % к предшествующему году)

Год	Польша	Чехия	Венгрия	Россия
1990	585,8	9,7	28,9	5,3
1991	70,3	5	35,0	92,6
1992	43,0	11,1	23,0	152
1993	35,3	20,8	22,5	873,5
1994	32,2	10,0	18,8	307,0
1995	27,8	9,1	28,2	197,5
1996	19,9	8,8	23,6	47,8
1997	14,9	8,5	18,3	14,8
1998	11,8	10,7	14,3	27,6
1999*	8,0	4,0	9,7	90,0
2000*	7,0	5,0	8,0	30,0

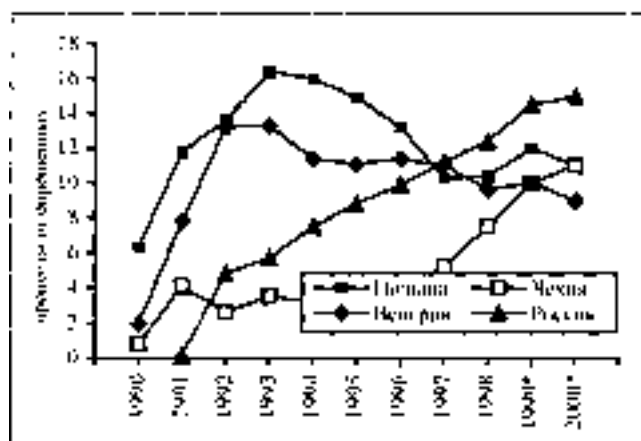


Рис. 4. Доля безработных среди занятого населения

\* Прогноз

**Польша.** Устойчивый рост польской экономики, отмечавшийся с 1992 г., замедлился в 1998 г. Падение спроса на польскую продукцию в странах Европейского Союза, а также в России привело к сильному спаду промышленного производства. Однако приток прямых иностранных инвестиций остается по-прежнему значительным, образуя прочную основу для будущего экономического развития. Несмотря на заметные успехи в борьбе с инфляцией, индекс роста цен остается все еще очень высоким. Рынок труда в Польше продолжает испытывать напряжения, вызванные плохой конъюнктурой, а также начавшимися в 1999 г. структурными пре-